

И.А. Бунин

Косцы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.

Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединой, исконной России. Было предвечернее время июня́ского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, стариk-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни.

Прелест ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелест ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы, и они, эти рязанские косцы. Прелест была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они, и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелест была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелест, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелест была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песни, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая окрест пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекраснее. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонушкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось: Ты прости-прощай, любезный друг,

И, родимая, ах да прощай, сторонушка! —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной. Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,

По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разомсливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес: Коль не любишь, не мил — бог с тобою,

Коли лучше найдешь — позабудешь! —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их

голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало: Ах, коли лучше найдешь —
позабудешь,

Коли хуже найдешь — пожалеешь!

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбытная радость при всей ее будто бы
безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и
непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил
он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и
впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» —
говорил человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что
куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная
родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и
сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки
приумолкли, все садились по местам!» Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с
ее глушью обступает меня, — и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью,
живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у
него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос,
шепчуший: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи
спокойно, дитятко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери
лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его
младости». Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные,
таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он
молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись
ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и
ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие — и прощал милосердный
бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие... Еще одно, говорю я, было в этой
песне — это то, что хорошо знали и мы, и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что
бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие — и
невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас
наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы,
свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-
Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.

Париж, 1921